

Дарья Франц

Железные крылья

I.

Александра Вячеславовна с ласковой, озорной бодростью смотрела на не по-зимнему быстро плывущие в водянисто-голубом небе — за огромным, от пола до потока, клетчатым окном аэропорта — облака. Бывает так, особенно летом, что облака низкие, лёгкие, рваные, бесшабашные, почти хмельные, разных причудливых ватных форм, стремительно меняющихся прямо на глазах. Облака эти неуловимы и неудержимы, как несущий их ветер, и движение их вдаль неотделимо и неотлично от смены их формы, так что всякая малейшая смена формы будет уже одновременно и движением вдаль.

С наслаждением думала Александра Вячеславовна об этих облаках. Казались они ей пудовыми, неподъёмными, почти железными, несущимися на железных крыльях. И всё же мчались они так свободно и задорно, так по-детски непосредственно и сладко, — точно прыгали на одной ножке, точно взмывали в подскоке, точно и впрямь были детьми, точно подхватили вместо простуды — детскую невинность и детскую улыбку, убежали в свой детский сон, где всё им было можно, — и вот, стотонные, неуклюжие, с блеском стальным да с обшивочными листами, заклёпками и стыковочными швами, — в простоте Христовой поверили в то, что умеют летать, и — полетели.

Странно всё же было согласиться с тем, что такие-то облака зимой возможны. В тот год выдался необычный январь — не с морозной клюквой на щеках, не со скрежещущим костяными зубами острым лезвием катка, не с багряной кровью, с хохотом хлещущей из прилипшего к нечаянно лизнутым саням языка. Нет, январь выдался какой-то средневропейский, с оттепелями и дождиками, с робкой, стеснительной, спешащей убраться слякоткой, с временами даже воскресающей из мёртвых, снова пытающейся зеленеть зомби-травой. И Александра Вячеславовна нежно погладила ворот своего белоснежного осеннего пальто, в котором было, благодаря этому нездешнему, неслыханному чуду, не холодно улетать из Москвы в месяце январе.

Насмотревшись на облака, вспоминала она Новый год — этот уж русский совсем, наплевавший, можно сказать, нахаркавший на предательский, продавшийся Западу январь. Новый год в кругу семьи:

в кругу мудрого и доброго, скромного и тихого папы Славы, который, всегда после седьмой, а никак не после пятой, возьмёт и затаит почти про себя, словно испытывая неловкость или боль от обнажения столь глубинных, ничем не защищённых, трепетных, как открытая рана, сторон своей души, — далёкую песню на не переданном своим детям, должном оборваться на нём, Славе, пронзительно красивом родном своём языке — языке одного из малых народов его многонациональной родины;

в кругу суетливой и хозяйственной, решительной и волевой, заботливой защитницы мамы Светы, зычно, лучше всякого громкоговорителя, оглашающей дом победными звуками, не по факту, а по одному своему тембру возвещающими о наконец-то свершившемся торжестве мировой революции, — в связи с необходимостью перенести из кухни в зал оливье, селёдку под шубой, салат «Мимоза» и, само собой, голубцы;

в кругу крошки-сестры Ники, Вероники, Веры, то Веры, не Ники, но клубники, то черники, то костяники, то ежевики, то голубики — очаровательной такой малышки, в которой было всё и всего было — самая крошечная малость: и крошка вредности, и крошка нежности, и крошка зубрёжки, и крошка когтистой кошки; сестрёнка курила, но тоже немножко, видимо, понарошку, чуточку бранилась непотребно и самую уж невидимую капелюшечку пыталась выкинуть что-нибудь эдакое, чтобы её заметил и оценил весь мир: то ли шляпку надеть эпатажную, то ли мальчика зацеловать в метро, то ли взять и завалить уже какой-нибудь экзамен, со всеми-то пятёрками в зачётке, в своём экономическом вузе; не решаясь ни на что из перечисленного, Вера-Ника хмурила бровки, отпускала подростковые колкости, прикрикивала по пустякам на родных от избытка юношеского максимализма — и вдруг вставала, кричала громче всех: «Ура!!!» — и, звонко

со всеми перечокавшись, опустошив свой бокал шампанского, во весь голос, страшно фальшиво исполнила советский гимн, полностью заглушая телевизор с гимном российским;

в кругу мирно и ненавязчиво выживающей из ума бабули Динули, которая всё порывалась куда-то лететь, видимо, тоскуя по тому городу, где провела жизнь, сыграла все свои второстепенные и одну главную театральные роли, родила и вырастила детей и похоронила мужа:

по городу, где узнала она наконец истинное счастье любви не с мужем, а с временно квартировавшим в том городе инженером Колей, который оставил в сердце до глупого неизгладимый след всего одним каким-то четверостишием из, не приведи Господи, французского символиста Малларме; оставил не потому даже, чтобы Динуля понимала по-французски или верила столь стоически, что по-французски понимает Коля, а потому, что рассказал он ей это четверостишие, склеивая её самую любимую, случайно разбитую во время их свидания вазу, в которую она хотела поставить его белые розы, склеивая её так, будто он и в самом деле понял, что ваза эта была величайшей, единственной её, Динули, святыней, и склеил её поэтому так, что никто никогда не заметил ни единой трещинки;

по городу, где дворники мели в августовское пекло сухие листья во дворе каждое утро ровно в десять минут шестого, а листья эти заносил до январских сугробов тополиный пух, рвавшийся неведомо куда, и зачем, и к кому, а лесные голуби тоже срывались с ветки и летели к воде.

От этих воспоминаний у Динули обрывался её умоляющий скорее ехать в аэропорт голос, а сердце и вовсе отрывалось и летело к себе домой уже совсем само, своими силами, роняя на поля редкие красные слёзы.

Александра Вячеславовна вдруг резко, испуганно вздрогнула, точно только что чуть не задохнулась. Это сон смаривал её, и мысль утекала неведомо куда, словно те облака-реки из железа. Она вернулась к истоку своей реки. Новый год... Праздник, когда все эти подавленные и жестокие, несчастные, мучающие друг друга люди вдруг вспоминают о том, кто они, когда они наконец по-настоящему веселы, внимательны, заботливы (даже если мама гаркнет папе: «Наливай уже, чего ждешь-то? Что как не мужик!»), когда в глазах дрожит драгоценная искорка счастья от вручённого подарка (даже если в ответ не блестит и наёмка на искорку удовлетворения от него), когда нужно слушать поздравление, загадывать желание, петь гимн — первый раз в году из двух (второй — Девятого мая), ни с того ни с сего, по неясному поводу, гордясь своей родиной и любя её (для того, верно, что как встретишь Новый год, так его и проведёшь), когда под и убогую, и прекрасную,

и звенящую, и пугающую музыку отбиваешь ноги и заламываешь руки, а потом напряжённо и настороженно вслушиваешься до утра в тревожные военные действия, развернувшиеся в остолбеневшем от удивления, так привыкшем к малышам на качельках собственном дворе.

Александре Вячеславовне и впрямь страшно хотелось хотя бы подремать. Бессонные ночи перед окончательным отлётом к суженому, страх самолёта — всё тут играло свою роль. Нужно было выпить ещё кофе. Александра Вячеславовна огляделась. Блестящий пол отражал десятки разноцветных огней вывесок и указателей, он казался рекой, в которой всё это добро давно потонуло и теперь лежало на дне, инфернально сверкая живыми, изнемогающими, затуманенными тиной глазами. И только десятки ламп, тоже канувших в загробную реку, нарушали близящийся к катарсису творческий беспорядок мокрого, как асфальт, пола своей строго выверенной, занудной геометрией.

Пол тянулся вдаль, за стойки дьюти-фри, за эскалатор, ведущий в нижний этаж, за терминал контроля личных вещей пассажиров, за кабинки контроля паспортного, за красный и зелёный коридоры, и впадал в просторный холл, где тридцать минут назад Александра Вячеславовна и в самом деле сидела в кафе и пила кофе со своей школьной подругой Улечкой, прилетавшей повидать отца и согласившейся её проводить.

Улечка жила в Европе, именно там, куда теперь летела и сама Александра Вячеславовна. Куда она летела, с точностью она не знала. Какая-то ничейная земля между тремя государствами. Первые два были республикой и королевством, это она помнила в точности, а третье — никак не могла запомнить она этого — то ли герцогством, то ли княжеством. И самих названий этих стран она чувствовала себя не в состоянии заучить. Она же преподаватель английского и французского, а не географ, в конце концов. Александра Вячеславовна посмотрела на свой посадочный, но название города, стоявшее в нём, не сказала ей ни о чём.

Зато помнила Александра Вячеславовна, что в школе Улечку звали Ульяной Владимировной. Даже уже в пятом классе. Улечкой же она стала не тогда, когда встретила мужчину своей жизни и съехалась с ним гражданским браком, ладно сварганив семейное предприятие общепита. Не тогда, когда родила сына Андрейку и стала водить его в детский сад и на плавание. Не тогда, когда пыталась спасти совсем уж безнадежно больную маму, рыдала, стучала кулаками, не спала ночи, бегала по инстанциям, выгрызала ей операцию под ленивое ворчание врачей о бесполезности этой зловещей медицинской процедуры и чуть не продала свой единственный бизнес. Она стала Улечкой не тогда, когда маму свою похоронила.

Нет, Улечкой она стала, когда ревела ночами в подушку, не давала уснуть и мужу и кляла чёртову российскую жизнь. Когда встретила европейского мужчину с грязными, взъерошенными волосами и запахом табака, алкоголя и пота. Когда этот мужчина объяснил ей, как она может и сама стать европейской женщиной. Когда отец её ребёнка, видя её истерзанность, обречённо и тихо кивнул и второй раз в жизни выкурил сразу две сигареты подряд — первый раз был в тот стираемый из памяти его лечащими психологами день из далёкой студенческой молодости, когда питбуль на его глазах терзал какого-то ребёнка. Когда она взяла Андрейку, побрила голову, словно для монастыря, и получила в паспорт штамп о том, что её мужем является Ив Камю.

За поощим трепетный французский шансон именем, за нагруженной философскими и даже сугубо экзистенциальными смыслами фамилией скрывался человек, который был женат третий раз, и третий раз на русской, и третий раз фиктивно. Русские женщины поступали к нему в рабство, устраивались уборщицами в местные госучреждения, стирая себе руки сначала до волдырей, потом до синдрома запястного канала, затем до операции и, наконец, до инвалидности. На заработанные таким образом деньги русская женщина, для себя и Ива, снимала квартиру и добывала пропитание. Сам Ив лежал на диване в задумчивости о бренности мира, достойной его фамилии, и два раза в неделю ходил пешком, чтобы не тратиться на проезд, по десять километров в одну, потом в другую сторону за табаком и алкоголем, которые в одном их трёх бог его знает как называющихся государств стоили дешевле, чем в двух остальных. Пот же везде, кажется, стоил одинаково.

Улечка отпахала европейской рабыней пять лет, получила паспорт, с чистой совестью отпустила благоверного со своей квартиры ехать за новой невестой, вшила в свой сдавленный срединный нерв не инвалидность, конечно, а справку о профнепригодности к тяжёлым физическим нагрузкам, а заодно и такими жертвами доставшийся ей европейский паспорт. После этого к ней приехал отец её ребёнка, чеканящего на чуждом его родителям языке не хуже, чем на родном, — её «не фиктивный» муж, которому тоже предстояла своя пятилетка, но уже не столь драматического характера. Самые тяжёлые испытания, как обычно то и бывает, опять легли на хрупкие женские плечи.

Александра Вячеславовна напряжённо следила за Улечкиными приключениями, пытаясь понять, ради чего же такого человек мог бы положить пять лет жизни и здоровье на европейский жертвенник. Пытаясь осознать это, она ездила к Улечке поддерживать её; останавливалась в местной гостинице; взирала на огромный, почерневший, какой-то сгнивший палец Ива, торчащий из колоссальной,

больше самого носка, в нём дырки, с почти таким же ужасом, как и на его небритое лицо, на ветвях которого расселся беспардонный остаток приготовленного Улечкой обеда — макаронина, или рисина, или просто красноватое пятнышко чёрт его знает чего. Она слушала, как Улечка научилась халтурить на работе, протирая одни только пороги, да ещё разве что вычищая мусорки, и вообще ловко симулировать бурную деятельность, но вот руку спасти это никак не помогало. Кроме сгнившего пальца и обречённого нерва руки, в ничейных тех землях больше, кажется, не было физиологического хоррора, а был обычный европейский город, с церковью и собором, с рыночной площадью и мясной лавкой, с вечно закрытым парком и памятником у железнодорожного вокзала, изображавшим голого крылатого мужчину в горизонтальном положении. Там не было даже фонтана, даже старинного замка или дворца, даже театра или филармонии. И Александра Вячеславовна разводила руками — не понимала зачем.

Раньше она думала, что только в Сирии и Ираке существовали такие вот ничейные земли, где разрешалось рабство. Оказалось, что и в Европе тоже было такое явление — правда, в данном случае рабство претворялось в жизнь по обоюдному согласию сторон. Нет, она сочувствовала Улечке и в целом догадывалась, что та пошла на такие жертвы не от хорошей жизни, несмотря на весь свой бизнес. Какова была цель всего этого, какова была искомая польза, она, правда, никак не могла сообразить, но ведь не можем же мы быть умнее всех, не можем влезть во все головы и вывести там все тайны. Если Улечка так поступила, значит, в её ситуации это был выход. И нечего судить да рядить.

Но она-то, она, Александра Вячеславовна, согласилась бы на брак только из чувств, что бы там ни было. Всё остальное в её понимании жизни не имело к браку никакого отношения. Ей хотелось принца на белом, как тополиный пух в городе бабули Динули, коне, и чтобы хвост того коня, будто тамошние дворники, ловко вымел из её судьбы все горести и невзгоды.

Улечка понимала и прелести, и совершенства, и потребности Александры Вячеславовны лучше, чем сама их обладательница. Однажды она познакомилась со своей бывшей одноклассницей с Жеромом — человеком, во всех смыслах пригодным для лишённого досадных фикций брака. Человеком с европейской зарплатой коммунального (то есть муниципального) служащего — против российской учительской зарплаты Александры Вячеславовны; с очищенной от досадных родственников квартирой — против «трёшечки» в подмосковной высотке, где любящие и ненавидящие друг друга домочадцы ютились впятером; с неопишимо

огромным состоянием, которое, как единственно-му наследнику, грозило свалиться Жерому прямо на голову через каких-то двадцать лет.

Но не это, не это вовсе привлекло Александру Вячеславовну в Жероме и её к нему притянуло. Её подкупила изысканность французской медлительной речи, и меланхолическая усталость взгляда, выдававшая человека, который мечтает о том, чтобы его осчастливили, и его какая-то детская травмированность и незащищённость, сквозившие в небрежности и несвязности речей и мыслей. Она не могла не прильнуть к нему всей своей пылкой душой за одно уже то, как он довольно смеялся, шутя о том, что она будет варить ему русские борщи, рагу и прочие блюда из не самой популярной в регионе белокочанной капусты, а он, так уж и быть, покажет ей, что делать с луком-пореем, и с сельдереем — черешковым и корневым, и с фенхелем. Само слово «фенхель», звучавшее по-французски как «фенуй», было крайне волнующим и будоражающим нервы. В нём причудливо переплелись и гастрономические чудеса разных стран мира («нуй» — французское слово, означавшее китайскую лапшу; средиземноморский «рататуй»; татарский «сабантуй»), и какой-то запредельно искусный фэншуй, и град глаголов повелительно-ласкательного склонения, вроде «целуй», «балууй», «милуй».

За какую-то из многочисленных соблазнительных сторон этого сумасшедшей притягательности «фенуя» Александра Вячеславовна и начала ездить уже не столько к Улечке, сколько к Жерому. Теперь она летела к нему с двумя тяжеленными чёрными чемоданами, сданными в багаж (второй, разумеется, за дополнительную плату), с маленьким кокетливым чемоданчиком, купленным специально к случаю и пошедшим в ручную кладь, и с ноутбуком в тесной сумочке. Через месяц они планировали пожениться во имя обнаруженных друг в друге прелестей, потребностей и совершенств.

В самолёте Александре Вячеславовне всегда было дико неудобно, непривычно и очень страшно. Она вжималась в сиденье, читала молитвы и мелко дрожала. Есть почти не могла. Но, слетав к Жерому три или четыре раза, она стала более адекватным человеком. Тем более помогало ей, когда рядом оказывался не просто сосед по перелёту, а интересный собеседник. В этот раз получилось именно так.

Женщина, которую звали Милашка — то ли от скорее русской Людмилы, то ли от скорее белорусской Миланы, — летела в город, в название которого была двойная согласная, да ещё к тому же и буква «ц» (хоть убей Александру Вячеславовну — ну не запоминала она название), то ли Ниццу, стало быть, то ли Биарриц, а может, и вообще куда-то в Африку, в логово мухи цеце. В цыкающем грозно, свысока, городе

существовали: любовник и потенциальный муж Милашки, большая квартира, три тысячи евро ежемесячного дохода, какие-то сумасшедшей красоты и истории города поблизости — Ангулем, Аркашон, Ангушон, Аркалем (разве можно человеку упомянуть такое?), и устричные поля, и беспрекословная готовность купить новый телефон, если вдруг старый смоем несносный, дерзкий, страстный развратник — Атлантический океан. Всё это сочное блюдо, к несчастью, было приправлено тридцатилетней разницей в возрасте, которая сама по себе полная ерунда и даже достоинство, но в сочетании с решимостью завещать всё своё состояние родным сыновьям, а не обожаемой супруге, — непреодолимо препятствие для брака. Впрочем, дело ещё не было решено окончательно, ага, потому-то Милашка и продолжала летать в город, выпятивший свои симпатичные це-рожки. Всё из-за того, что по другую сторону двух железных крыльев существовали: Саратов, Самара, два мужа, оба бывших и потерявших к Милашке любой интерес, взрослый сын, интересующийся этой не чужой ему женщиной едва ли активнее, чем его отец и отчим, набивший оскомину бизнес и огромное желание уйти на по-европейски красивый и даже элегантный, вполне заслуженный покой после стольких-то трудов праведных.

Александра Вячеславовна очень быстро потеряла нить Милашкиной болтовни, перестала слушать, ответила пару раз невпопад, задумалась о своём, размечталась. В этой мечте она гуляла по лугу и всё разглядывала тонкие тростинки, любовно смахивала с них росинки, прижимая к губам, сдувала с них пылинки и былинки — они ведь росли у большой дороги, по которой неслись гружёные фуры, и приходила в такой восторг, что поминутно ловила в ладонь свои смешинки и даже счастливые слезинки.

Через месяц на руку ей надели золотое кольцо, и она стала просто Сашей.

II.

Февраль в том году настал ещё в январе, и не в середине января даже, а почти в самом начале. Пошли снегопады, парализующие начисто автомагистраль, несмотря на довольно большое количество уборочной техники, а ветер-злодей хлестал плёткой по щекам и рукам, точно сёк провинившееся дитя, точно саму душу желал высечь, выбить из тела, и гнать, и гнать её, и гнать перекати-полем по городам и весям, до самых дальних земель, до самой России.

Так бы Саша хотя бы не расплакалась. Конечно, тошно ей было донельзя, но ведь донельзя только, а не до слёз. Но ветер надел перчатки с острейшими железными шипами, схватил Сашины руки, отчего на них выступили большие, обидные трещины и капельки крови, а потом

хлопнул одновременно по обеим щекам, словно зашедший в истерику шут гороховый. И Саша тихо всхлипнула, жала потрескавшиеся губы над прыгающим подбородком, быстро растёрла рукой выдавленные из её нутра слёзы.

А ветер всё мчался, как адская железная птица, изломал её зонт, рвал с неё шапочку и шарф, кушал за шею, словно острокрылый вампир, и резал глаза, чтобы ещё больше слёз полилось из них, чтобы полились слёзы и те, и эти, и о себе, и о нём, окаянном, и от одной, и от другой — одинаково нестерпимой — боли. И терзал, и рвал он её, как бешеный пёс, воя и причитая о собственном огромном, невыразимом и потому только жестоко навязываемом чужому человеку горе, воя до свиста в ушах, до того, что земля уходила из-под ног, что всё тело запрокидывалось назад, почти на спину, ревя и раскидывая руки в демонической, растаскивающей тело надвое амплитуде, и, наконец, взлетало, поднималось, несло на неверных, шатающихся, пугающих железных крыльях.

Бедная Саша пробивалась сквозь этот ветрище к кафе и всё думала, откуда у природы вдруг взялось столько досады на человеческий род, почему не поливает она землю обильными тёплыми дождями, как положено ей по сезону, а нещадно избивает своей дубиной, срывает лоскуты кожи режущей, как нож, семихвосткой, да ещё и метёт заодно, и лепит снегом, так что ноги заплетаются и оступаются, так что высеченный, выжженный глаз и вовсе не видит, не разбирает дороги.

Такую злую вьюгу помнила она по своему детству в подмосковной школе, когда очень любила залезть поглубже в сугробы и пробираться, пробираться, пробираться, долго и упорно, несмотря ни на какую погоду. Воображала она себе, верно, экспедицию за полярный круг. Хорошо было вернуться домой, когда ноги мокры от снега, несмотря на самые прочные, новейшие из новеньких сапоги, когда, упав несколько раз в снег, приносишь его и в рукавах, и в волосах, и за шиворотом. Когда мама гаркнет, конечно, в свой громкоговоритель: «Ох, Санечка! Ну когда же ты, дурёха великовозрастная, повзрослешь уже?» — а потом разденет, натрёт спиртом или водкой, укутает, отпарит ноги в кипятке, будет брать то одну, то другую стопу и растирать каждый пальчик, отпоит чаем с малиной, а вернее, залитым кипятком малиновым вареньем, так как никакого чая в этом напитке сроду и не было вовсе. И если попросишь ну очень очень ласково — даже полежит с тобой рядышком на ночь, пока не уснёшь.

То было давно, и теперь Саша жила далеко от мамы — в квартире, бесплатно предоставленной её мужу коммуной, то есть, на местном наречии, «коммунальной» квартире. В первом этаже, который назывался «ре-де-шоссе», помещалась столовая для коммунальных служащих,

а во втором этаже, называвшимся первым, жили они с мужем в двух комнатах. В этой «коммуналке» никто не гаркнул бы на неё теперь, упали она в снег и утони в нём со всем своим многотрадным сломанным зонтиком. Никто больше не умел на неё гаркать, не держал в доме спирта и водки, не держал и варенья малинового, и даже чая, а вода была, наверное, в дефиците, потому что всегда её нужно было экономить. Отпаривать в ней ноги запрещалось. Экономилось или запрещалось и много других вещей, которые она так любила. Дом топился плохо, даже зимой, свет нельзя было зажечь, чтобы читать книжку, нельзя было пользоваться ни одним энергоёмким прибором, и если, когда становилось вдруг скверно-скверно на душе, хотелось сделать бутерброд с двойной колбасой, как в детстве, с двумя ломтиками сервелата, накладываемого прямо на язык, то мог выйти скандал.

Саша больше не могла. Она легла на землю, закрыла глаза и стала вспоминать Новый год. Мысль её долго скользила по тому месту, где он должен был помещаться в её воспоминаниях, капризно ища, за что бы зацепиться перво-наперво. В итоге мысль зацепилась за устрицы, привезённые — зачем исключать такой вариант? — из краёв, облюбованных Милашкой. Устрицы эти так неприятно хрустели на зубах — видимо, частичками своей скорлупы, что даже их необычный, пронзительный вкус можно было бы им простить, только бы избавиться от этого хруста.

Устрицы подавались лишь в самых богатых домах. Их с мужем дом зажиточным считаться никак не мог: пока здравствовали его родители, приходилось жить на «коммунальные» харчи. Саша сама до сих пор не работала, а помогать финансово детям в этой ничейной земле, видимо, принято не было. Зато на праздники и на обеды её и Жерома приглашали в гости, хоть и не часто, друзья его родителей из соответствующих кругов. Там можно было посмотреть на красивую жизнь:

на жизнерадостного главу семьи, который сам, своими руками, построил фамильный дом, заработал за десять лет бизнеса состояние для детей и для внуков; мастера на все руки, трудящегося их не покладая, и великого шеф-повара, известного на весь регион, проверяющего готовность любого мяса и крема термометром, чтобы слюнки текли по подбородкам даже у самых заядлых гурманов, обезжужающего пять магазинов в поиске истинного фуа-гра, — на эту гордость и славу, оплот и твердню большой семьи;

на живущую в своё удовольствие жену его, никогда не красящуюся, не имеющую ни одного элегантного наряда, первозданную, весёлую и довольную своим естественным безыскусным видом; жену, у которой всё спорится и горит в руках, получается легко и славно, истинную хранительницу

очага, где каждая вещь лежит на отведённом ей месте, каждое дело сделано в отведённое ему время, каждое слово сказано в подходящем для него случае; жену, которой можно доверить и искусный выбор вина из погреба, скрывающего не менее тридцати наименований, и замысловатую, артистическую раскладку по тарелкам сладчайшей дыни и деликатесной ветчины, перемежаемых капельками привезённого прямо из Португалии порто, загущённого до состояния соуса, и поиск, по отзывам и рекомендациям, ландшафтного дизайнера для реализации старинной мечты — прелестного озера с белыми гусями-лебедями и дорожками «па жапоне»;

на их милую, пригожую дочь и мужа этой дочери, нарожавших в первой молодости столько детей, что совместные стали им противопоказаны, — только и успевай рассовывать уже имеющих по их отцам и матерям в разных городах трёх соседних государств, названия которых так и оставались для Саши загадкой, чтобы соблюсти очередность пребывания с ребёнком обоих его родителей;

на великое антикварное сокровище — бабулечку Мадлену, почитаемую прародительницу, любящую порассказать о своих дворянских корнях, о том, что их застолье не стоило бы и ломаного гроша, знай хоть кто-нибудь из них так же хорошо, как знала она, как проходили застолья в древних родовых замках то ли графов, то ли баронов, где приборов на столе не семь, а двадцать, где обедают не четыре часа, а все восемь, где для дорого гостя открывают вино 1865 года, где мужчины встают и не смеют сесть, если одна из дам вышла в уборную.

Почти заснувшая Саша с протяжным криком, напоминающим звук втягиваемого воздуха, очнулась от своего наваждения, замотала головой, отплевалась от снега. Медленно и неохотно, как вурдалак из могилы, вылезла она из своей белой постели в объятия железнокрылого, в пыточных перчатках палача-ветра. Мысль её тут же соскочила с цепи воспоминаний и не напомнила ей ни о танцах до упада, ни о музыке, ни о телепередачах, ни о минуте, посвящённой отечеству, ни о подарках, ни об искренней радости от наступления Нового года. Не напомнила даже не потому, что всего этого и в помине не было в новогодний вечер, а в большей степени из-за того, что Новый год до сих пор так и не наступил, ведь нельзя же приманить его иначе, чем боем курантов, отпевающих его предшественника, отброшенного в амбар истории на неловко сваленную кучу тех лет, что были и того раньше, — ну нельзя никак его приманить, просто посмотрев на часы, а потом суховато, почти безразлично поздравив друг друга, даже без шампанского.

Вот в силу какого горького несчастья Саша всё оставалась и оставалась в том самом году, когда

переехала в Европу, а другие годы для неё не наступала. И время для неё остановилось.

Она отряхнулась и вновь побрела в кафе, размышляя о том, хрустят ли устрицы на зубах, как песок, в графском замке, где, уже совсем как положено, накрыто целых двадцать приборов, и если у тебя дети от трёх разных мужчин, а у твоего мужа — от четырёх разных женщин, то могут ли два сиамских кота всё-таки сойти за ваших совместных детей. Видимо, это можно было как-то проверить, поставив им кулинарный термометр. Но бедная Саша не знала, куда ставят термометр котам, поэтому так и не пришла ни к каким окончательным выводам.

Тогда-то подумала она, как протекала бы их с мужем жизнь хотя бы и не в замке, а если бы они были столь же умеренно богаты, как титулованные шеф-повара. Такая перспектива представлялась вполне возможной через то неопределённое количество лет, которое отделяло их от наследства. И тогда она видела роскошный пароход, плывущий из Сан-Франциско на Капри, видела там если не старую, то уж точно дряхлую и никому не интересную женщину, которой не хочется даже не хрустящих на зубах устриц, даже крема, выверенного до сотой, а не до десятой доли градуса, даже вина 1765 года, и, страшно сказать, не хочется даже того, чтобы сам высокочредный принц Монако остолбенел, отдавая честь с лицом, торжественным, как у главы государства, поздравляющего с Новым годом свой народ, — пока она будет растряхивать свои одеревеневшие кости в уборной целых семь с половиной минут.

Из-за непролазности снега шла она так немисливо долго, что уже, казалось, можно было прийти не только в кафе, но и в не очень от него удалённый аэропорт. И, завидя, наконец, вдалеке сквозь белую пелену знакомую вывеску, Саша почти приняла её приглушённый свет, напоминавший города-привидения из фильмов ужасов, за аэропорт, разбомблённый и разрушенный, стёртый с лица земли совсем новеньким, где она полюбила одного очень хорошего человека.

Она полюбила его, верно, за то, что он, как и дядя Коля — бабуле Динуле, дарил ей, Саше, только белые розы, которые поэтому можно было ставить в любимую бабулину вазу. Полюбила за то, что брал её руку, прижимал к своему сердцу и заставлял её слушать и даже верить, что от её руки оно бьётся всё быстрее и быстрее. Полюбила его за то, что он видел её в длинной, в пол, юбке гофре, искренне наслаждаясь этим зрелищем, и, если налетал летний ветерок, говорил, что она вылитая Мэрилин Монро.

Полюбила за то, что жарил картошку, которой Динуля пела дифирамбы не менее трёх минут, не прерываясь ни на секунду; за то, что обещал увести её, Сашу, в Новую Зеландию; за то, что так

трогательно смаковал шуршание старой бумаги и часами мог разглядывать бабушкины подшивки, сделанные в те святые времена, когда из кипы литературных журналов ещё валяла настоящие произведения искусства для домашней библиотеки и ставили в книги печати, обозначающие фамилию их владельцев; да просто за то, что любил он её в её самом любимом, на всю жизнь, городе, на её самых любимых улочках, аллеях и бульварах, под её самыми любимыми тополями, пух которых они могли и вдыхать, и ловить губами, потому что был он для них безобиден; за то, что целовал её на берегах «ставков» и в милых сердцу руинах источенного и обрушенного природой летнего кинотеатра, после смерти ставшего незлобивым фантомом; за то, что сажал её там на каменные ступени, а сам взбегал на эстраду и пел ей так, будто за его спиной грохотал Большой симфонический оркестр.

Сладко помечтав об этом, Саша поняла, что пришла она не в аэропорт-привидение и даже не в город-привидение, населённые призраками её первой молодости, а просто в кафе, где её ждала Липочка.

С Липочкой Саша познакомилась, когда недолго работала в гастрономическом отделе находившегося тут же, рядом с кафе, супермаркета. Достойной работы она себе найти не могла, а деньги были нужны почти любой ценой, вот и пришлось тягать упаковки молока и расставлять банки с консервированной рыбой, распаковывать резаком коробки чипсов, а иногда, если требовалась помощь в соседнем отделе свежих продуктов, и морозить себе до боли пальчики, засовывая в холодильники йогурты. В морозильном отделе работать без перчаток Саша не могла, это было смерти подобно.

Тогда-то и там-то она познакомилась и с бодрой пожилой Терезой, у которой муж учил русский и пытался с говорить с Сашей, да только она его всё равно не понимала; и с ярко накрашенной помешанной Матильдой, выдававшей себя за дочь Элвиса Пресли и совавшей ей в лицо свой портмоне с фотографией отца-кумира; и с несчастной алкоголичкой Вероникой, пытавшейся порыдать у неё на плече об отчаянном состоянии своих финансов и устраивавшей драки на кассе; и с той самой Липочкой, которая жила в двух шагах от супермаркета и приходила туда почти каждый день.

Липочка была, наверное, лет на двадцать постарше Саши. В жизни её всё происходило само собой и случайно. Случайно познакомилась она со своим мужем из местных в самолёте. Сам собой закрутился с ним роман. Сама она не заметила, как оказалась с ним под венцом. Опомниться не успела, а уже получила местное гражданство. Неожиданно для себя услышала предложение о фиктивном браке от какого-то возжелавшего

её новоиспечённого гражданства лица неясного происхождения, развелась с мужем и пронесла в паспорте штамп с фамилией этого спонтанно нарисовавшегося лица пять лет, будто пятикратную или шестикратную беременность. Поняла наконец как-то более чем внезапно, что бизнес на паспорте можно делать хороший.

Разбогатев на своём европейском гражданстве, Липочка в крайнем изумлении узнала о том, что на ней хочет жениться архитектор, дышащий на ладан, но крайне любвеобильный и ещё более, чем любвеобильный, богатый. Архитектор этот был человек здоровый и прогрессивный, поэтому спал и видел, как бы оставить Липочке всё своё состояние. Правда, и с придурью он был, конечно, но кому же это непростительно в его-то возрасте? Липочка усердно пекла ему пирожки с капустой, с яйцом, с яблоками и с мясом; отпаивала кефиром, ряженкой и откармливала творогом — всё сплошь собственных рук производства, так как подобных продуктов в местных лавках не водилось; выдраивала квартиру, в которой уже видела себя хозяйкой; смахнув скупую слезу, танцевала для её-то возраста не такой уж и лёгкий танец живота.

Когда у архитектора переклинивало сознание, то он мог выставить Липочку из дому на улицу на неопределённый срок чуть ли не в чём мать родила и закрыть изнутри дверь. Видимо, наблюдая за тем, как она там билась, за стеклянной дверью, в истерике от холода и злобы, он получал уже единственное доступное ему на тот момент его жизни эстетическое наслаждение от динамической импульсивности полуобнаженного тела и отсутствия при этом малейшего шороха, так как стекло в двери было звуконепроницаемым. Тогда архитектор вспоминал свою молодость, вспоминал, как ходил на немое кино с девушкой, которую нужно было во что бы то ни стало покорить энергией, страстью и напором, и видел уже вовсе не сморщенную Липочку, а ту юную и желанную девушку, раздетую именно до того состояния, до какого ему было нужно, видел и совершенно немое, даром что не чёрно-белое, кино. Рука его опускалась на антикварный проигрыватель, и от туда какой-нибудь Адамо или Беко умолял его в надрывно-поэтическом шансоне всё смотреть и смотреть, как падает снег на обнажённые, худые, незащитные плечи, и представлять себе, что Липочка кроет его не трёхэтажным матом, а клятвами вечной и чистой любви.

Сволочью оказался архитектор. В один прекрасный день нагрянула его какая-то, что ли, внучка со своим мужем-ментом, и Липочка была бесславно и жестоко исторгнута из того лона, о котором уже заботилась как о своём родном.

Саша и Липочка дружили. Когда-то Липочка была Олимпиадой Викторовной, подающим надежды бухгалтером. Олимпиада Викторовна

работала в солидном банке и зарабатывала много и даже больше, чем могла потратить разумно и без мотовства. И если бы так безбожно случайно не угодила она в тот самолёт с его железными ветрами, то была бы она сегодня руководителем всей бухгалтерии, самым главным бухгалтером, играла бы в преферанс и в рулетку с миллионерами и флиртвала с обрусевшим британцем — ведущим модной кулинарной передачи.

Саша добрела до кафе, оплатила «чеками питания» кусок клубничного торта и чашечку латте маккиато, плюхнулась перед Липочкой за столиком на верандочке и затараторила о том, как же тяжело ей жить с таким мужем; о том, что у мужа нет ни единого интереса и увлечения; что с ним никуда не сходишь и ничего не купишь; что даже городов европейской она с ним не посмотрела ни одного и до сих пор не знает ни культуры местной, ни достопримечательностей. Что муж гонит и её мыть полы до разрыва срединного нерва, а впрочем, она пытается пробудить в нём и душу, и бывшие чувства, и даже уважение. Но терпение её на исходе: скоро, очень скоро она плюнет, с досадой плюнет на всё, плюнет и вернётся в Россию.

Взгляд Липочки и её отношение к Сашиной исповеди были настолько же туманны, как и пейзаж за окном веранды, начисто скрытый отчаянными погодными явлениями. И Саша сбивалась со своего монолога, называла себя замарашкой, называла смазливой мордашкой, то дурашкой, то очаровашкой, то жалела она себя, то кляла, провозглашала себя мелкой несчастной букашкой, желала лучше уж стать чебурашкой и — плакала у Липочки на плече, совсем как ещё всего несколько месяцев назад алкоголичка Вероника плакала на плече её.

III.

Стремительных облаков по небу опять проносились так много, что почти кружилась от них голова. Но плыли они не сами: их свирепо, без всякого сочувствия или жалости, гнал ветер, подстёгивая, как взмыленных лошадей, которых обязательно нужно уморить. И облака тянулись вереницей, покорные, тихие, на всё согласные, тянулись и гибли за горизонтом, сменяемые новыми нескончаемыми вереницами. Вот почему их не было и не могло быть жаль, вот почему никому и никогда и в голову не пришло бы заметить их утраты. Ни в одном из них не читалось ничего уникального, незаменимого, неповторимого, а значит, нельзя, никак нельзя было их любить или жалеть. Никто не плакал о них, провожая взмахом платка в последний путь, и только как-то внутренне неловко всё же становилось за бесшабашный ветер, на железных крыльях нёсший эти послушные, бесшумные, не издающие никаких душераздирающих криков создания на забой.

Шурку — так теперь все взяли моду называть Сашу — тоже было неудобно за ветер, как неудобно нам за тех, кто на наших глазах, при нашем попустительстве, без нашего вмешательства, с нашего молчаливого одобрения вытворяет бесовские безобразия и бесчинства. Поэтому она тупила глаза на свои обкусанные, обветренные руки и всматривалась в чашку, на дне которой не осталось никакой кофейной гущи, или в пятно пролитого кофе на столике, пытаясь угадать по этим последним свою судьбу.

Судьбу угадать было непросто. Для начала хотелось бы понять, где именно она находилась. Но она этого не помнила, а может быть, никогда и не знала. Было ли это кафе в московском аэропорту, и она вылетала в Европу? Или, может быть, располагалось это кафе близ европейского супермаркета, где она работала когда-то, и она собиралась взять отсюда такси и ехать в аэропорт, чтобы лететь в Москву? Шурок не имела об этом ни малейшего представления и даже не пыталась строить догадок.

Опасливо взглянула Шурок на окно, за которым бесчинствовал ветренный палач. Нёс он теперь, раскидывая, размётывая в разные стороны, и стаю каких-то птиц. Но птицы хотя бы гаркали на него, сопротивлялись, останавливали его взлетное над ними крыло своим, а иные и просто зависали в полной неподвижности, развернувшись к нему передом. «Птицы не погибнут!» — успокоительно твердила про себя Шурок.

Да, и ей нужно скоро лететь вместе с этими птицами, вероятно, даже туда же, куда летят птицы, а может, и туда, куда летят облака, — и ей тоже очень не хочется гибнуть, как облака, на ветру. Нужно лететь — это-то она знала. И ещё помнила, что сейчас январь, потому что лепит мокрый снег вперемешку с дождём, потому что ветер совсем очумел и не шадит ни единой живой души, потому что в окно плеснули противообледенительной жидкостью и она стала растекаться так, будто это было окно субмарины, разгоняющейся по воде, чтобы потом нырнуть на самое дно.

Шурок уже сидела, получается так, не в кафе, а в самолёте и болезненно вспоминала, как, забыв про заляпанный столик, вдруг потянулась вдаль — то ли по чёрному траволатору зелёного коридора в Москве, то ли по чёрному шоссе в направляющемся к европейскому аэропорту зелёном такси. Никак и никому нельзя было понять, что же именно произошло — то или это, как нельзя понять, где аквамариновое море, а где лазурное небо, а где голубые горы, когда сольются они все воедино.

Куда же она летела? Если был январь, то недавно встречали Новый год. Где же она его встречала? Она долго поздравляла маму, но это могло быть и по скайпу. Она долго плясала под музыку без ярко выраженной национальной принадлежности,

но, возможно, плясала одна, потому что напилась. Она явно брала за руку бабулю Динулю и о чём-то хохотала с ней, но ведь если она и впрямь уснула тогда на диване в половине третьего утра, то это могло ей просто пригрезиться, только и всего.

Она решительно ела устрицы в этот Новый год, но разве она не сама купила их, чтобы поразить родителей европейским чудом? Она смотрела «Иронию судьбы», но не потому ли, что ей единственный раз в жизни удалось уломать мужа на советский фильм? И салат оливье мог быть остатком её собственного — сделанного за неделю до Нового года, от тоски по тому, что опять всё будет «не как у людей».

Стоп, а два сямских кота? Это уж точно неопровержима улика. Но ведь полтора года назад она подарила двух сямских кошечек своей сестре, которая, наконец, придумала, решилась, выкинула нечто такое, что потрясло весь мир: начала сама снимать себе квартиру в Москве.

Шурок сжала голову. Ей вспомнились её местные подруги, многие из которых имели, по её представлениям, очень благополучные и счастливые семьи, имели детей и достойный заработок. Наверное, они были уважаемы и любимы в своих фамильных гнёздах. А может, хотя бы на одну минуту каким-нибудь неловким, неудачным, невольным жестом им давали понять, что и они хоть чуточку — девчонки, короткие юбочки, чухонки из далёкой сторонки, чьи руки так тонки и звонки, что лопаются перепонки.

Одна девчонка-юбочка и впрямь оказалась в очередной раз соседкой Шурка по перелёту. Звали её уже от рождения Верчонком, а не какой-нибудь там Верой Николаевной — ну не досталось ей столь замысловатого имени. Верчонок вышла замуж почти так же случайно, как и Липочка, — то ли по любви, то ли по нежности, то ли по привычке, то ли по привязанности, то ли от нечего делать. Когда она вышла замуж, то стала называться уже Сверчонок. Потом ждала пять лет паспорта. Паспорт показался ей слишком малой ценой, уплачиваемой за лучшие годы самой бурной и активной деятельности её души и тела, поэтому она решила при разводе отсудить у мужа дом и пожизненные алименты в две тысячи евро. После такого решения, кроме как Скверчонок, её больше никто никак именовать даже и не думал.

— Ты куда летишь, Шнурок? — поинтересовалась Скверчонок, которая плохо расслышала имя Шурка и поняла его по-своему.

— Кажется, в Россию, — промямлила её соседка, тоскливо глядя на дрожащие струйки антифриза.

— И чего ты там забыла?

Шурок сжала губы, передёрнула плечами.

— Тошно, — покачала она головой в полнейшей неопределённости. — Тошно.

— Ну а сколько тебе до паспорта ещё?

— Мне до паспорта месяц остался.

— Ты что, вообще долбанулась, Шнурок? — выпучила глаза Скверчонок. — А что же ты паспорта не дождёшься? Зачем же ты тогда пять лет в Европе с каким-то там — жила?

Шурок подняла на Скверчонок чистые глаза уводимой на забой тёлки, в которых яркими, влажными акварелями заиграли школьные уроки английского и французского (на эти уроки она всегда приходила такой очаровательной, весёлой, подтянутой, немного строгой); заиграли парты и ученики за ними — ребята, которых хотелось всех нежно погладить по головам, даже тех, которые были самыми отчаянными разбойниками; заиграли её терпеливые исправления по десятому разу у одних и тех же ошибок, долгие объяснения грамматических сложностей, которые не был способен понять никто, кроме неё; заиграли лукавые искорки, загорающиеся оттого, что дети смотрели на неё как на сверхчеловека, без подсказок и словаря знавшего перевод любого текста.

Когда взгляд её встретился со взглядом Скверчонок, она сразу же отвернулась, подёрла рукой подбородок и со страдальческим видом уставилась в орошаемый мутно-белёсой жидкостью иллюминатор.

— Ну, тогда полечу в Европу, — сделала она одолжение Скверчонок.

— Да на фига попу гармонь, если ты там всё равно жить не хочешь? — не приняла её себе-седница этой брошенной ей кости.

— Не хочу жить больше с мужем, — пожалала плечами Шурок. — А Европа мне нравится, конечно. Там и люди вежливее. И пицца вкуснее. И экология лучше. И зимы без снега. В Европе я жить хотела бы. А с мужем — больше не хочу.

— Да ты ушиблась на всю голову, как я посмотрю! Что он там, в Европе, один, что ли? Что его здесь, в Европе, в штучном экземпляре, что ли, произвели? Есть чудесные брачные агентства, а у меня одной — целых десять знакомых женихов, и все только и воют: «Русскую, русскую, русскую дай!» Это же товар, торговая марка, этим пользоваться надо, чтобы поймать с них всё, чего тебе в жизни хочется! Найдём тебе богатого-пребогатого, умного-преумного, благородного-преблагородного, и возвышенного, и утончённого, и со вкусом, и с виллой, и с яхтой! Только и тебе нужно продать себя уметь!

Скверчонок несло, и у Шурка от этой болтовни начинался звон в ухе, звон, искажавший уже всякое содержание человеческой речи. И казалось ей, что Скверчонок убеждает её в том, что они оборванки, а продать себя надо уметь, тогда они будут содержанки, сварят мужьям манки, будут закрывать для них на зиму банки, будут поить их лекарством из склянки, скармливать им с ложечки запеканки, привозить гостинцы-баранки,

обматывать ноги в портянки, укутывать на ночь в вышиванки...

— Алло, контора! — разоралась Скверчонок. — Шнурок, приснись, твою!.. Я тебя спрашиваю: тебе молодого, чтобы пожить ещё с кайфом, детей родить, или уж сразу лет под девяносто, чтобы раз-два — и наследство?

Шнурок тупо уставилась на Скверчонок и вдруг — поняла её мысль, увидела себя на рассекающей море яхте, на рассекающем воздух планере, на рассекающей шоссе «феррари», с мужчиной, которому можно было безошибочно и без зазрения совести дать от двадцати до девяносто, потому что вместо глаз у него сияли два личных самолёта, вместо носа дрейфовал собственный остров в Карибском море, а рот открывался пароходным гудком, выпускающим соблазнительный, подкашивающий ноги и сладострастно утягивающий в отверстую пасть жар. Брови Шнурка дрогнули, рука вялой птицей подлетела и прижалась к горлу, а потом звонко, против всяких правил какой бы то ни было авиакомпании, влетела в иллюминатор с разбегу разбивающимся об оконное стекло воровушкой, застыла, к иллюминатору прилипнув, и тихо сползла, расчищая его от бледного налёта.

И за налётом этим померещилось ей на секунду выжидающее в спокойном, холодном, настойчивом требовании лицо Липочкиного архитектора, который то ли пришёл за тем, что принадлежало ему по праву, то ли подполз к загнипнотизированной им жертве. Тогда Шнурок в истерическом припадке бросилась по коридору самолёта и вниз по трапу, отбрасывая хрупких стюардесс, вырываясь от охраны, бросилась в любимый лес, где тропа шла вдоль то мертвенно-спокойной, то сморщенной и тихо искрящейся, то бурлящей мягкой пеной на порожах реки, где благоухали от дождя пронизывающие весь материк, от Бреста белорусского до Бреста французского, одни и те же растения — крапива, папоротник, одуваны, осока, сныть, берёзы, ели, где, если совсем долго бежать, встанут отвесной серой стеной и тысячелетние, нерушимые горы, и преградят тебе путь, и ошестинятся сухостом голых деревьев, напоминающих высохшие за зиму борщевики.

— Так куда же я всё-таки лечу? — с мольбой в голосе вдруг спросила, очнувшись от глубочайшего и долгого сна и судорожно лоя губами воздух, Шнурок у Скверчонок.

— Им виднее, куда ты летишь, — видимо, имея в виду пилотов, ответила ей Скверчонок, очевидно, вышедшая за время сна соседки из состояния лихого сватовского запала. — Хотя даже им не видно ничего, кроме неба. Понимаешь два пилота в кабине, а вокруг — одно только небо, небо, небо, и снова небо, и ниже небо, и выше, и левее, и правее, и всё — голубое, и всё — одно. И летают

в нём, кроме железных птиц, одни только птицы живые. Правда, железные птицы сожрали живых, но живые всё-таки продолжают дышать, двигаться и развиваться в утробе у железных, а значит, у них по-прежнему есть путь и судьба. Куда летят они все, куда стремятся, чего ищут? Разве же знает об этом хотя бы одна живая душа?

— Да отчего же, отчего, за что эти чёртовы люди разлетались так, как птицы? — горестно воскликнула Шнурок, почуяв уже полнейшую безысходность.

Но отвечать ей на вопрос — тем более на такой, риторический, — было неудобно: гигантская железная птица, которая проглотила их со Скверчонок, вдоволь растеревшись противоблестительной жидкостью, поползла, потом победоно, потом бешено разогналась и — взмыла, рассекая воздух, вспарывая ему брюхо, спешно всасывая в себя свои механические ноги.

За окном неба не было, не было моря, не было даже гор. Не было облаков и ветра. Не было и той родной стаи пернатых птиц. Все иллюминаторы забили, разрослись до неприличия, одни железные крылья. Они маячили без фона в каждом окне, отблёскивая стальной каёмкой и крупными болтами прошивки.

Шнурок нервно сглотнула от ужаса, вцепилась в ручки сиденья. Но крылья всё росли. Они пробили обшивку салона, они влезли вовнутрь, зловеще подбираясь к ней до тех пор, пока она не завопила, не расстегнула ремень, не влезла с ногами на сиденье, не сжалась. Крылья подползали, тянулись к ней в немой мольбе. Как немислимый океан Солярис, остановились они в каком-нибудь сантиметре от её тела, в благоговении своём не смея к нему прикоснуться.

Несколько минут зачарованно смотрела Шнурок на ползучие крылья, начиная вновь дышать ровнее и спокойнее. Затем на душе у неё посветлело. Она наконец поняла, что летит не в Россию и не в Европу, а в стёртый с лица земли, но самый дорогой на веки веков её сердцу аэропорт, источенный картечью и размётанный на куски неведомым миномётно-авиаударным питбулем; в аэропорт, откуда она когда-то возвращалась к себе домой и где в последний раз видела и целовала того, кого полюбила.

Да, посветлело у Алечки на душе. Алечка — так называл он её, он один, даже не Санечкой, как мама, а совсем уж невыносимо-ласково — Алечкой. С детской улыбкой, украденной у летних облаков, оперлась она на два титанических крыла, покорно лёгших у её ног, как два дракона или грифона, и раздвинула их, несмотря на тяжесть. Да и какая, какая могла быть тяжесть, когда крылья эти не просто летели сами по лёгкому, как дыхание, воздуху, но и безо всякого усилия несли на себе — всех людей, все вещи, весь мир?

Раскинув по сторонам железные крылья, она увидела его, и ей сразу стало спокойно, почти безмятежно. Он лежал в высокой несмятой траве, в тени, на берегу ставка, такой худой, почти слившийся с землёй. Только длинная травинка, зажатая у него в зубах, тревожно вертелась, как балансир неумелого канатоходца.

Алечка сначала подошла к круто обрывавшемуся и глубокому в этом месте ставку, и, как любила она всегда делать, окунула в него руку и долго пыталась ловить маленьких быстрых серых рыбок. Эта миниатюрная бухточка казалась ей её собственным аквариумом, который был у неё в десять лет, — особенно тяжёлые, словно пластиковые, тёмные зеленоватые водоросли и растопыренная коряга.

Потом она не спеша вытерла мокрую руку о край платья и легла возле него, положив голову ему на грудь.

«Только небо... — думала она. — Пилотам видно только небо... Вот оно, вот оно, наконец-то...»

Выцветшее от почти сорокаградусной жары, раскалённое сильнее солнца, небо, в котором больше не пели птицы, плыло перед её глазами, и, кроме него, существовала на свете только травинка, щекочущая это небо то лёгким покачиванием, то внезапным резким скачком или рывком, от которого колеблющийся воздух сгушался комочками бусинной слизи и вдруг пританцовывал, расплывался, будто пожираемый языками костра и на них плавающий. А ведь где-то там, не так уж и далеко, на высоте всего-то десяти километров, то ли от единства и борьбы противоположностей, то ли от неугомонной, вездесущей пляски инь и ян, сорокаградусный зной оборачивался сорокаградусным морозом...

— А где же январь? — вдруг удивлённо и взволнованно спросила Алечка, прогнав в травинку несколько долгих минут.

Он ответил ей так, чуть подумав:

Сыпались в озёра апельсины,
И жара тряслась, как холодец,
Посреди безжизненной равнины
Позабыл о ласточке Творец.

— Ох, не надо это, не надо это стихотворение, не надо, прошу тебя, милый! Я не вынесу его сейчас!

Он, будто рассердившись, отбросил травинку, сильным и властным движением привлёк к себе Алечку и долго целовал её, так долго, что налетела какая-то жирная туча. И хотя она разрослась только в полнеба, а не во всё небо, но прорвало её таким ливнем, что они, не переставая друг друга целовать — уже больше для того, чтобы прятать свои лица от секущей их воды, — почувствовали, как их стремительно смывает в ставок новорождёнными, задорными ручейками-селями.

Момент падения в глубокую воду показался немного страшным, потому что тело пронзила недвижимость. Нельзя было пошелохнуть и пальцем, и только пробивала пульсирующая, спорадическая дрожь, словно пытаясь спасти, вытолкнуть на поверхность, не дать навсегда остаться под водой. Дыхание стало столь поверхностным и незначительным, что слишком долго оставаться в таком положении было жутковато. Через какое-то время нос и рот и впрямь начали инстинктивно захватывать воду с тем же шлёпаньем, с каким захватывает воздух рыба. Вот только веки всё ещё невозможно было разлепить.

Но тело уже оживало. Как плавник, дёрнулась в невольном балетном движении Алечкина рука и — мягко опустилась на мужскую грудь.

Она открыла глаза лишь после глубокого и чистого вдоха. С неба, похожего на одну из плёнок со старинными кинолентами архитектора, ласково смотрел на неё шеф-повар, отец-покровитель большого семейства. Едва-едва, но всё же узнаваемый контур его лица был словно нарисован тушью для каллиграфии на бледно-бежевом пергаменте. Он предстал по пояс и занял всё небо. У него были гигантские подушечки пальцев, и, кажется, он держал в руках термометр. Алечка толком не могла разобрать, потому что она до сих пор так никогда и не видела кулинарных термометров.

Она заметила, что по ставку плыли вовсе не апельсины, а разные другие фрукты — клубника, красная смородина, малина, костяника, черника, ежевика, голубика... Изредка попадался и физалис.

— Физалис! — поправил её небесный кулинар. — В моём блюде он называется физалис, а не физалис. К тому же «физалис» рифмуется со словом «сифилис», в котором ударение тоже на последнем слоге.

И шеф рассмеялся своей незатейливой игре слов. Ещё среди фруктов проплывали цветы. Их было два вида — фиолетовые, как фиалки, и сакурно-розовые, словно японские. Алечка с удивлением вскинула взгляд на иероглиф повара, и тот добродушно улыбнулся и кивнул ей, подбадривая. Тогда она протянула руку, выловила фиолетовый цветок и с настороженностью взяла его в рот. Она очень боялась, что он окажется солёным. Но он был вовсе не солёным, а, наверное, сам по себе безвкусным — но сладким от крема. Алечка ещё раз повозила рукой в кулинарном шедевре, облизала пальцы и поняла, что они плыли в английском креме с ванилью.

— Мне что-то это напоминает — плыть по течению среди фруктов и цветов, когда только-только упал в воду, — вдруг беспокойно сообщила она творцу трёхзвёздочно-мишленовских десертов. — Мне напоминает это что-то.

— Плавающий остров, — пожал плечами её собеседник. — Это блюдо называется «плавающий остров».

— Плавающие острова! — заспорила она с ним, как глупая, упрямая школьница.

— Здесь нет островов, — покачал он головой с мягким укором. — Здесь остров только один. Я так хочу. Я так создал вас. Это один, только один остров.

И он, пугающе огромный, вдруг задвигался, взял какую-то посудину и начал из неё всё на свете порошить шоколадной стружкой и лепестками миндаля. И Алечка смеялась от щекотки, и переглядывалась с тем, на чьём плече лежала её голова, и стряхивала своей ручонкой с его лица сладкие съедобные опилки, и вылавливала ему клубники из английского крема, потому что от смородины он отказывался наотрез, и вновь

целовала его только для того, чтобы они могли спрятать свои лица от несносной кондитерской присыпки, и внезапно обхватывала губами его щёку, чтобы смешать вкус сакурно-фиалковой малины со вкусом шоколадно-ванильного миндаля. Когда Алечка слишком сильно на него облакачивалась, он больше не мог плыть на спине и выпрямлялся во весь рост, а она всё смеялась и смеялась тому, что и лоб, и волосы, и рубашка, и губы у него в английском креме, и бросалась ему на шею, а он крепко обнимал её, гладил по волосам и с грустной улыбкой всматривался в вечно другое, вечно движущееся, вечно непредсказанное и непредугаданное, вечно налетающее, вечно гудящее, вечно молниеносное, вечно гремящее, вечно грядущее, вечно, крылатое небо, гордо и покорно распахивая ему навстречу отражение своих стальных глаз.